РУСЛАН ГАНИЕВ



ИНЖЕНЕР
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

КНИГА ПЕРВАЯ

Руслан Ганиев

Инженер Его Величества

«Автор»
2026

Ганиев Р.

Инженер Его Величества / Р. Ганиев — «Автор», 2026

Он тридцать лет чинил подстанции и знал одно: ток не прощает ошибок. Авария на линии и инженер Ветров открывает глаза в чужом мире, в теле девятнадцатилетнего Даниила Тальцева, отчисленного студента и наследника разваленного жильного узла.Здесь вместо проводов жилы, вместо электростанций Истоки, а вместо инженеров маги, которые лечат поломки заговорами. Отец Даниила погиб на «мёртвой» жиле, которая вдруг ожила. Долги, кредиторы и могущественная Зарецкая жильная компания хотят забрать узел. До ревизии тридцать дней.У Ветрова нет магии. Зато он знает то, чего не знает здесь никто: как на самом деле течёт сила, почему горят обереги и кто подаёт ток в отключённую линию.Попаданец-профессионал в магической Российской империи. Инженерная логика против магии, подлогов и княжеских денег.

© Ганиев Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 16
Глава 4 22
Глава 5 28
Глава 6 34
Глава 7 40
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Руслан Ганиев
Инженер Его Величества

Глава 1
Пустой дар

Ледяной дождь шёл третьи сутки, и вся Иркутская область понемногу превращалась в один большой каток.

Я стоял у трансформаторной подстанции посёлка Нижняя Речка и смотрел, как провода на опорах обрастают льдом. Толстым, мутным, в палец. Под такой тяжестью провод провисает, опоры кренятся, а потом где-нибудь в поле рвётся линия, и посёлок остаётся без света.

Так и вышло. В шесть вечера отключилась линия на Нижнюю Речку. К восьми мы выяснили, где обрыв: в двух километрах от посёлка. К десяти приехали. Но сначала — сюда, на подстанцию. Прежде чем лезть на провод, линию надо заземлить с обеих сторон.

Рация на поясе хрипнула:

— Ветров, приём. Что у вас на Речке?

— На месте, — ответил я. — Сейчас посмотрим.

— Семён Ильич, — Костя переминался с ноги на ногу и стучал зубами. — Ну чего мы ждём? Линия же отключена. Диспетчер сказал — фидер на головной выкинули.

Косте было двадцать два. Год в бригаде, руки золотые, голова пока пустая. Хороший парень. Поэтому я и держал его на коротком поводке.

— Ждём, Костя, потому что ты ещё не проверил отсутствие напряжения.

— Да откуда ему взяться? Всё ж выключено!

— Отключить. Вывесить плакаты. Проверить, что напряжения нет. Наложить заземление, — я загибал пальцы в мокрой перчатке. — Потом трогать. Не наоборот.

— Это когда-то давно писали.

— Это писали кровью, — сказал я. — Тех, кто торопился.

Костя вздохнул так, будто я лишил его праздника, и пошёл к машине за указателем напряжения.

Я вышел за ограду подстанции, к дороге, туда, где потемнее и потише. Вокруг стояла та особенная тишина, какая бывает только в обесточенном посёлке. Ни одного горящего окна. Ни одного фонаря. Холодильники не гудят, телевизоры не бормочут. Только дождь стучит по льду, да где-то лает собака.

И ещё что-то.

Я прислушался. У старых сетевиков на некоторые звуки уши как у собаки.

Где-то на краю посёлка, за огородами, мерно тарахтело. Тук-тук-тук-тук. Ровно, упрямо.

Дизельный генератор.

Я выругался про себя. Кто-то из местных не стал сидеть в темноте и завёл генератор. Это ничего. Беда в том, как его подключили. Если по уму — через переключатель, который отрезает дом от сети, — никакой беды. А если, как у нас любят, прямо в розетку, через самодельный провод с двумя вилками…

Тогда ток от генератора пойдёт не только в дом. Он уйдёт в сеть посёлка. Дойдёт до нашей подстанции. И трансформатор, который обычно понижает напряжение для домов, сработает наоборот. Повысит. Тысяч до десяти вольт.

И «отключённая» линия, на которую сейчас полезет Костя, окажется под напряжением. С другой стороны. С той, откуда никто не ждёт.

— Костя! — заорал я.

Он уже был у подстанции. Указатель так и торчал у него из кармана куртки. Видимо, решил, что проверка — это для стариков, а он и так всё знает. Он стоял на обледенелой площадке и тянулся штангой заземления к выводу линии.

— Стой! Назад!

— Да всё нормально, Семён Ильич, я только…

Я не помню, как пробежал эти десять метров обратно. Помню, что под ногами был лёд, а в голове одна мысль: только бы не успел.

Я схватил его за пояс и рванул на себя. Костя полетел в сугроб.

А я поскользнулся.

Ноги ушли вперёд, тело — назад, рука взлетела вверх, к выводу. Я ещё успел подумать, что это очень глупо. Тридцать лет в сетях. И так глупо.

Потом была вспышка — белая, как сварка. И тишина.

Даже генератор больше не тарахтел.

* * *

— …слухач.

Голос был сухой и скучный. Так зачитывают приговор, который всем давно известен.

— Тальцев Даниил Андреевич, — продолжал голос. — Дар определён как слухач. Сила дара — ниже третьей ступени. Для обучения в Императорском училище Жил непригоден.

Кто-то хихикнул. Потом ещё кто-то. Потом засмеялся весь зал.

— Слухач… — прошелестело где-то сбоку. — Такие жилы портят.

Я открыл глаза.

Я стоял. Это первое, что меня удивило: я стоял, а не лежал в сугробе. Ноги держали. Ничего не болело, если не считать головы. Голова раскалывалась, как после двух смен подряд.

Второе, что меня удивило, — зал.

Высокий, с колоннами, с галереей наверху. Под потолком висели светильники: матовые шары, внутри которых горел ровный голубоватый свет. Не лампы. Я на своём веку перевидал все лампы, какие бывают. Эти светились иначе — как будто изнутри, без нити и без мерцания.

Передо мной стоял стол под зелёным сукном. За столом сидели трое в тёмных мундирах с серебряными шнурами. На столе лежал прозрачный шар размером с арбуз. В глубине шара еле теплилась бледная искорка.

А вокруг стояли люди. Человек шестьдесят. Молодые, лет по восемнадцать, по двадцать, в одинаковых серых сюртуках. И все смотрели на меня.

Я посмотрел на свои руки. Тонкие пальцы, чистые ногти, ни одного шрама. Не мои руки. У меня на левой ладони был ожог от девяносто восьмого года, а на правой не хватало кусочка мизинца.

— Тальцев, — сказал председатель, худой старик с бакенбардами. — Вы меня слышите?

— Слышу, — сказал я. Голос тоже был чужой. Молодой, ломкий.

И тут в голову хлынуло.

Не воспоминания даже. Обрывки. Как будто кто-то вывалил на стол коробку чужих фотографий. Даниил Тальцев. Девятнадцать лет. Младший сын. Род старый, но бедный. Отец, Андрей Тальцев, полгода назад погиб на семейном узле, где-то под Ольховом. Мать умерла давно. Старший брат в столице, они не разговаривают.

Училище Жил. Два года учёбы. И вот сегодня — испытание дара. Последний шанс.

Который он, судя по смеху, провалил.

Слухачей не любили. Считалось, что тот, кто слышит силу, может её и сглазить. В деревнях таких гнали от узлов палкой. А в училище слухачей после испытания не держали ни дня.

Я стоял и пытался не упасть. В голове было два человека, и оба пытались говорить одновременно. Один — инженер пятидесяти четырёх лет, который только что умер на обледенелой подстанции. Другой — мальчишка, которому стыдно так, что хочется провалиться сквозь паркет.

Ладно, сказал я себе. Разберёмся. Сначала — где мы и что происходит. Как на любой аварии.

— Слухач, — громко сказал кто-то в первом ряду. — Как и папаша. Тот тоже всё слушал. Так и дослушался.

Смех стал громче.

Я повернул голову. Говорил высокий парень с красивым надменным лицом. Сюртук на нём сидел лучше, чем на остальных, а на пальце горел перстень с синим камнем. Память мальчишки подсказала: Аркадий Зарецкий. Сын князя. Громовик второй ступени. Лучший на курсе.

И мальчишка его ненавидел. И боялся.

Я посмотрел на Аркадия спокойно. Я таких видел. В каждой организации есть свой Аркадий — молодой, громкий, с папой в нужном кабинете. Обычно такие хорошо говорят на совещаниях и плохо держат отвёртку.

Аркадий, кажется, ждал, что я покраснею. Я не покраснел. Он нахмурился.

— Тишина, — сказал председатель, не повышая голоса. — Испытание окончено. Тальцев, вы свободны. Документы получите в канцелярии.

Я должен был повернуться и уйти. Мальчишка внутри меня этого хотел больше всего на свете.

Но я не мог. Потому что я слышал.

Это было странное ощущение. Не звук. Скорее, гул — где-то в зубах и в кончиках пальцев. Ладони вдруг стали тёплыми, как будто я держал их над горячей плитой. И это тепло тянуло меня в одну сторону. Вправо и назад.

Я обернулся.

У стены, за бархатной занавеской, стоял высокий шкаф из тёмного дерева с бронзовыми ручками. От шкафа под потолок уходили толстые медные тросы. К светильникам.

Гул шёл оттуда. И он был неправильный.

Я всю жизнь слушал, как гудят трансформаторы. Ровный низкий гул — норма. Гул с дребезгом, с подвыванием — что-то не так. Этот шкаф гудел так, как гудит щит, который сейчас загорится.

Я принюхался. Пахло воском, духами, пылью от бархата. И ещё — еле-еле — горячим лаком. Так пахнет изоляция, которая начинает плавиться.

Я посмотрел на светильники. Они горели ровно. Но если смотреть долго, было видно: дальние шары, у окон, светят чуть слабее ближних. И едва заметно подрагивают.

Перегрузка. Или плохой контакт где-то внутри. Скорее, и то и другое. Всё, что включено в зале, тянет силу через один шкаф. А шкаф старый. А зал сегодня полон, и все шары горят на полную.

— Господин председатель, — сказал я. — Отключите, пожалуйста, щит. Вон тот, за занавеской.

Смех оборвался. Стало очень тихо.

Председатель посмотрел на меня так, будто стол под зелёным сукном вдруг заговорил.

— Что?

— Он перегрет, — сказал я. — Внутри плохой контакт. Через несколько минут там будет пожар. Людей надо вывести, а щит отключить.

Секунду все молчали. А потом зал взорвался хохотом.

— Он слышит! — Аркадий согнулся пополам. — Господа, слухач слышит! Пустой дар, а туда же!

— Тальцев, — председатель побагровел. — Это щит Императорского училища. Его заговаривали лучшие мастера губернии. Немедленно покиньте зал.

Я не покинул.

Знаете, в чём разница между инженером и чиновником? Чиновник боится выглядеть глупо. Инженер боится, что кто-нибудь погибнет. А я инженер. Позориться я давно не боюсь.

Я пошёл к щиту.

— Стоять! — крикнул кто-то.

Двое служителей в ливреях загородили мне дорогу. Я попытался обойти. Один взял меня за локоть. Хватка у него была крепкая, а тело у меня было мальчишеское, лёгкое.

И в этот момент гул в зубах взвыл.

Я почувствовал это раньше, чем услышал. Ладони обожгло, будто я схватился за сковородку. А потом из-за бархатной занавески раздался хлопок. Негромкий, сухой, как будто лопнул воздушный шарик.

Занавеска вспыхнула.

Шары под потолком мигнули все разом, ярко, до белизны, — и погасли.

Зал утонул в темноте.

Закричали сразу все. Кто-то завизжал. Кто-то побежал, кто-то упал, загрохотали стулья. В темноте горела только занавеска, и в её рыжем свете метались тени.

Служитель отпустил мой локоть. Я этого и ждал.

Я не стал бежать к дверям. Я пошёл к щиту.

Было темно, но мне не нужен был свет. Я слышал. Щит гудел, как улей, в который ткнули палкой. Внутри ещё шла сила — бешеная, рваная. Где-то у самого пола искрило.

Рядом с занавеской стоял парень. Худой, в очках, совсем мальчишка. Он застыл и смотрел на огонь не мигая. Ещё шаг — и рукав у него загорится.

Я схватил его за шиворот и отшвырнул в сторону. Он упал на паркет, очки отлетели. Ничего, очки найдутся.

Я сорвал горящую занавеску на пол. Затоптал. Обжёг ладонь, не обратил внимания.

На боковой стенке щита был рычаг. Большой, бронзовый, с костяной ручкой. Любой электрик узнает такой с закрытыми глазами. Главный рубильник. Что бы тут ни было вместо электричества, рубильник есть рубильник.

Я взялся за ручку двумя руками и рванул вниз.

Внутри щита что-то щёлкнуло. И гул оборвался.

Сразу стало тихо. Гудение в зубах ушло, ладони остыли. Только пахло гарью и горелым бархатом.

Я выдохнул. Хорошо. Огня нет, сила отключена. Теперь надо найти, где был контакт, пока его не...

Дверь в конце зала распахнулась. Вбежали служители с масляными фонарями. Свет запрыгал по колоннам, по перевёрнутым стульям, по бледным лицам.

И остановился на мне.

Я стоял у щита, держась за рычаг. Рядом на полу лежала обгоревшая занавеска. У стены сидел тот парень, уже без очков, и шарил руками по паркету.

Картина, прямо скажем, была не в мою пользу.

— Это он, — сказал Аркадий Зарецкий. Голос у него был тихий и очень довольный. — Господа, вы все слышали. Он сказал, что будет пожар. И пожар был.

— Сглаз, — прошептал кто-то.

— Порча! — сказал кто-то громче. — Слухачи же умеют портить жилы! Мне бабка рассказывала!

— Это не порча, — сказал я. — Это перегрузка и плохой контакт. Откройте щит, я покажу, где...

— Молчать!

Председатель стоял у стола. В свете фонарей его лицо было серым. Пятьдесят лет, наверное, этот щит работал. И сгорел именно сегодня, при всех, на его испытании. Ему нужен был виноватый. Очень нужен.

Он на секунду взглянул на обгоревший щит. Быстро, цепко — как смотрит человек, который всё понял. И отвёл глаза.

А виноватый стоял прямо перед ним и держался за рычаг.

— Тальцев Даниил Андреевич, — медленно сказал председатель. — За порчу казённого имущества и неподчинение вы отчислены из Императорского училища Жил. Без права восстановления. Вон.

Я отпустил рычаг.

Я мог бы спорить. Мог бы открыть щит и показать обгоревший контакт. Но я посмотрел на лица вокруг и понял: никто не станет смотреть. Им не нужна правда. Им нужно, чтобы виноват был кто-то другой.

Я это тоже видел. В каждой организации.

— Хорошо, — сказал я. — Только щит до проверки не включайте. Иначе в следующий раз загорится с людьми.

Я пошёл к дверям. Толпа расступалась передо мной молча, широко, чтобы ненароком не задеть.

Проходя мимо Аркадия, я остановился на секунду.

— Перстень у вас красивый, — сказал я. — Только камень в нём тоже греется. Я слышу. На вашем месте я бы снял, пока палец цел.

Аркадий машинально посмотрел на свою руку. Я не стал ждать, что он скажет.

Про перстень я, кстати, не соврал. Камень гудел тонко и противно, как комар. Что с ним — я пока не понимал. Но гудел он неправильно.

У самых дверей меня догнал тот парень в очках. Одно стекло у него треснуло поперёк. Память мальчишки про него молчала: кажется, за два года они ни разу не заговорили.

— Я видел, — сказал он быстро и тихо, будто боялся, что услышат. — Из-под занавески искрило. Внизу, у пола. Ещё до хлопка.

— Видел — и молчал, — сказал я.

Он покраснел до ушей.

— Меня бы тоже выгнали. — Он помолчал. — Лёва. Кравец. Я записал всё, что вы говорили про контакт. Слово в слово.

Он показал маленькую потрёпанную записную книжку. Огрызок карандаша торчал у него из-за дужки очков.

— Пригодится, — сказал я. — Береги.

Он моргнул от этого «ты». Ну да. Для него я был однокурсником, а не мужиком, который годится ему в отцы.

Человек, который записывает, в мире, где все верят в порчу. Это, пожалуй, было первое хорошее, что со мной здесь случилось.

* * *

Документы мне выдали в канцелярии за пять минут. Видимо, очень хотели, чтобы я ушёл поскорее.

Пожилой писарь протянул мне тонкую папку, а сверху положил конверт.

— Это вам тоже, — сказал он, не глядя мне в глаза. — Утром пришло. Из Ольхова.

Я вышел на крыльцо. Был поздний вечер. Над городом висела морось, фонари вдоль улицы горели тем же голубоватым светом, что и шары в зале. Я сел на холодную ступеньку и долго смотрел на свои чужие руки. На левой ладони вздувался ожог от занавески. Первый шрам на новой руке.

Значит, так. Я умер. Это, наверное, надо было как-то пережить, но пока не получалось. Слишком много всего сразу. Как при большой аварии: сначала работаешь, а страшно становится потом.

А теперь я — Даниил Тальцев. Отчисленный студент с пустым даром. В мире, где вместо электричества какая-то «сила», которая течёт по медным тросам, гудит в щитах и греет контакты. Совсем как ток.

Совсем как ток.

Я вдруг понял, что улыбаюсь.

Этот мир не знает, что такое закон Ома. Здесь заговаривают щиты. Здесь пожар от перегрузки называют порчей. Здесь человека, который чувствует, где греется контакт, считают пустышкой.

А я тридцать лет только этим и занимался.

Я вскрыл конверт.

Письмо было от нотариуса. Сухим казённым языком мне сообщали, что старший брат, Николай Андреевич Тальцев, отказался от наследства в части Ольховского жильного узла. Посему узел со всеми долгами и обязательствами переходит младшему сыну покойного, то есть мне.

В конверт был вложен ещё листок. Почерк — корявый, крупный, с нажимом, будто писал человек, который больше привык держать молоток, чем перо.

«Барин Даниил Андреевич. Приезжайте. Не продавайте узел, Христом-богом прошу. Батюшка ваш не хотел бы. А только знайте: на нём никто не продержался. Ни один. Смотритель ваш, Ефим».

Я сложил письмо и убрал в карман.

На нём никто не продержался.

Отец этого мальчишки погиб на этом узле полгода назад. Как именно — память молчала. Мальчишка этого не знал. Или не хотел знать.

А я, как назло, очень хотел.

Я встал, поднял воротник и пошёл по улице, под голубыми фонарями, слушая, как гудит в них чужая сила.

Ровно. Пока ровно.

Глава 2
Проклятый узел

Поезд до Ольхова шёл двое суток, и почти всё это время я молчал.

За окном тянулась рыжая октябрьская степь, по утрам белая от инея.

Мне повезло: в купе второго класса, кроме меня, ехал только один попутчик. Это был круглый говорливый человек в мундире почтового ведомства, лет пятидесяти, с бакенбардами и корзинкой пирожков. Звали его Пётр Саввич. Говорить он начал ещё на перроне и, кажется, не собирался заканчивать до самой Казани.

Меня это устраивало. Когда человек говорит без остановки, можно не говорить самому. А мне надо было слушать. Память мальчишки выдавала мир кусками, как плохая рация: тут слово, там картинка, а между ними треск.

— Вы, молодой человек, в Ольхов по делу или к родне? — спросил Пётр Саввич в первый же час.

— По наследству, — сказал я.

— А-а, — он сочувственно покачал головой. — Наследство — дело хлопотное. Я вот от тётки получил дом в Сызрани. Так там крыша течёт, а налог плати.

И он рассказал мне про тётку, про крышу и про налог. Потом про сына, который служит на телеграфе. Потом про жилы.

Вот тут я перестал смотреть в окно.

— …а у нас в губернии, сами знаете, жилы старые, — говорил Пётр Саввич, жуя пирожок. — От Истока до Казани ещё ничего, тянут. А дальше — кто во что горазд. Напор садится, к вечеру лампы еле тлеют. Говорят, на Камском Истоке опять неладно.

— Истоке? — переспросил я.

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Ну как же. На Урале, на Каме. Откуда сила-то идёт. Вы, простите, где учились?

— В Училище Жил, — сказал я. И, подумав, добавил: — Недолго.

— А, — Пётр Саввич понимающе кивнул. — Ну ничего. Учёба, она не всем впрок.

Я не стал спорить. Я думал.

Истоки. Места, где сила выходит из земли, как нефть или газ. Их немного, и все казённые. От Истоков сила идёт по жилам — медным тросам на опорах, которые здесь называют стоянами. Идёт под высоким напором, потому что, как сказал Пётр Саввич, «чем выше напор, тем дальше доходит, так ещё Первые мастера заповедали».

Я чуть не рассмеялся вслух.

Первые мастера, кем бы они ни были, заповедали очень правильную вещь. Чем выше напряжение, тем меньше ток при той же мощности. Чем меньше ток, тем меньше провод греется по дороге. Чем меньше греется, тем меньше потерь. Высоковольтные линии придумали не ради красоты. Здесь до этого дошли, только записали не как закон, а как заповедь.

— А почему жилы по три? — спросил я, глядя в окно.

Вдоль путей тянулись стояны, тёмные, просмолённые, с белыми чашками изоляторов. На каждом — три троса. Не два, не четыре. Три.

— Как почему? — Пётр Саввич даже перестал жевать. — Так положено. Тройка. Две жилы — сила хромает. Четыре — гневается. А три — ровно идёт. Это ещё моя бабка говорила.

Три фазы, подумал я. Бабка ваша, Пётр Саввич, была права. Просто не знала почему.

Мне стало легче. Совсем немного, но легче. Этот мир был странным, но не безумным. Он подчинялся тем же законам, что мой.

* * *

На вторую ночь Пётр Саввич уснул, а я остался сидеть у окна.

Поезд стучал на стыках. За стеклом проплывала тёмная степь, редкие огоньки деревень. В купе горела лампа под матовым колпаком. Тускло, с лёгким дрожанием. Я машинально прислушался к ней. Она гудела тонко и слабо, как уставшая муха. Сила в ней кончалась.

Я сунул руку во внутренний карман.

Просто так. Не думая. Как сто раз на дню. Рука сама потянулась туда, где у меня всегда лежал телефон.

Карман был пуст.

Конечно, пуст. Это был не мой карман и не мой сюртук. И телефона здесь нет. И не будет. И звонить мне некому, потому что та, кому я хотел позвонить, осталась в другом мире.

Лена.

Дочь позвонила мне в тот вечер, около девяти. Мы как раз выезжали на Речку. Я посмотрел на экран, увидел «Ленуся» и нажал «отклонить». Написал: «На аварии. Перезвоню».

Не перезвонил.

Ей тридцать один. Она живёт в Новосибирске, у неё муж, работа и кот. Звонит раз в неделю, по воскресеньям. А это была среда. Последние годы я обычно говорил «да, нормально», «да, ем», «да, на работе». И клал трубку первым.

Утром ей, наверное, позвонили из компании. Или из полиции. Я не знал, как это делают. Я видел, как погибают на линии. Ходил на похороны, держал за плечи вдов. А как сообщают своим — не знал.

Я долго сидел, держа руку на пустом кармане.

Потом убрал её. И стал смотреть в окно.

* * *

В Ольхов поезд пришёл вечером.

Вокзал был маленький, жёлтый, с часами на башенке. Над перроном горели шары, такие же, как в училище, только тусклее. Я вышел с одним саквояжем: всё имущество Даниила Тальцева помещалось в нём с запасом.

— Извозчика, барин? — подскочил мужик в армяке.

— К жильному узлу Тальцевых, — сказал я.

Мужик сразу перестал улыбаться.

— К узлу? — Он посмотрел на меня, на саквояж, снова на меня. — На ночь глядя?

— А что?

— Да ничего, — сказал он быстро. — Полтинник.

Полтинник, судя по его лицу, был ровно вдвое больше, чем стоило. Двое других извозчиков, услышав «к узлу», отвернулись и занялись своими лошадьми. Я заплатил.

Мы ехали через город, и я смотрел.

Ольхов был похож на десятки райцентров, которые я объездил за жизнь. Центр — каменный, с собором, гостиным двором и чугунными фонарями. Здесь было светло. Чем дальше от центра, тем ниже дома, тем шире улицы и тем тусклее свет. А за рекой, на Заречье, фонари еле светили и подрагивали, как свеча на сквозняке. Мне было видно их с набережной: редкие жёлтые точки на том берегу.

Я знал этот рисунок. В конце длинной перегруженной линии напряжение проседает. Дальние лампы всегда первыми садятся. Когда вечером весь город включает свет, на окраину не хватает.

А вот дрожь — это уже не просадка. Просадка даёт свет тусклый, но ровный. Дрожь значит, что кто-то или что-то дёргает сеть. Это я запомнил.

— Давно так? — спросил я извозчика, кивнув на тот берег.

— С весны, — ответил он, не оборачиваясь. — Как старый барин помер. Царствие ему небесное. — Он перекрестился. — Говорят, узел-то проклятый. Сначала его прибрал, теперь и город к рукам приберёт.

— Узел никого не прибирает, — сказал я. — Узел просто перегружен.

Извозчик промолчал. Но перекрестился ещё раз.

* * *

Узел стоял за городом, на пригорке над рекой.

Издали он был похож на маленькую крепость. Высокая кирпичная ограда, ворота, за оградой — тёмные силуэты: что-то большое, круглое, похожее на чугунные бочки в человеческий рост. От бочек во все стороны расходились стояны с жилами. В сторону города, за реку, к заводам.

Извозчик остановился шагов за сто от ворот.

— Дальше не поеду, барин. Уж извиняйте.

— Почему?

— Лошадь боится, — сказал он. Лошадь стояла совершенно спокойно. — Дотащите сами, тут недалеко.

Я взял саквояж и пошёл. И чем ближе к воротам, тем громче становился узел.

Гул. Низкий, тяжёлый, с подвыванием. Так гудит трансформатор, который работает на пределе. У меня заныло в зубах, а ладони потеплели, как тогда в зале. Свежий ожог на левой ладони задёргало. Только сейчас гул был везде, со всех сторон, словно я стоял рядом с огромным больным зверем.

Вблизи узел выглядел жалко. Ограда облупилась. Ворота держались на одной петле. А на воротах, на столбах, на ближайших стоянах — повсюду висели ленты. Красные, белые, выцветшие до серого. Связки сушёной травы. Деревянные ладанки на бечёвках. На одном столбе была прибита маленькая иконка в жестяном окладе, и под ней кто-то нацарапал крест.

Я остановился и посмотрел на всё это.

Всю жизнь я видел, как люди заклинают технику. Шофёры вешают на зеркало иконки. Монтёры не говорят «последний раз», говорят «крайний». У меня самого в машине лежал старый болт, который я подобрал после своей первой аварии и с тех пор возил с собой «на удачу».

Но здесь было другое. Здесь ленты висели не рядом с ремонтом, а вместо ремонта.

— Стой! — раздалось из темноты. — Кто идёт?

Я поднял голову.

За воротами в темноте стоял человек. Я видел только силуэт и ствол. Ствол смотрел мне ровно в грудь, и держали его умело.

— Узел не продаётся, — сказал голос. — Так и передай своему Крюкову. Хоть десять раз приходите.

— Я не от Крюкова, — сказал я.

— А от кого же? Ночью-то?

— Я Даниил Тальцев.

Человек молчал секунду. Потом шагнул вперёд, в свет единственного фонаря над воротами. Старик. Невысокий, крепкий, в тулупе нараспашку, с белой бородой лопатой. Он посмотрел на меня долго, внимательно, снизу вверх.

Ружьё медленно опустилось.

— Барин, — сказал он. Голос у него дрогнул. — Даниил Андреевич. Приехали. А я уж думал — продадите.

— Ты Ефим?

— Я. Я самый. — Он опомнился, торопливо закинул ружьё за спину и полез открывать ворота. — Да вы ж меня помнить должны. Я вас ещё вот таким на закорках катал. На узле-то.

Память мальчишки откликнулась слабо. Запах махорки. Большие руки. Чья-то борода, колючая и тёплая. Больше ничего.

— Помню, — сказал я. Это была почти правда.

Ефим кивнул. Помолчал.

— На похоронах-то вас не было, — сказал он. Без упрёка, просто как есть. — Николай Андреевич сказал — экзамены у вас.

Я не нашёл, что ответить. Мальчишка внутри меня съёжился. Экзаменов в апреле не было. Он просто не поехал. Испугался.

Ефим потянулся за моим саквояжем.

— Давайте донесу.

— Сам, — сказал я.

Он посмотрел на меня с лёгкой обидой, но отступил. Я не сразу понял, почему отказал. Саквояж был лёгкий. Просто я так привык. Сам донесу, сам проверю, сам сделаю. Надёжнее.

* * *

Сторожка была внутри ограды, у самых ворот. Тесная, жарко натопленная, с печкой, лавкой, столом и иконой в углу. На столе стоял самовар.

Ефим возился с ним, а я сидел и слушал. Не Ефима. Узел.

Даже сквозь кирпичные стены он гудел. Неровно. Тяжело. А в какой-то момент где-то справа, за стеной, раздался тонкий звук. Не гул, а писк. Быстрый, мелкий, как будто что-то маленькое пробежало по проводу. И пропал.

— Что это? — спросил я.

— Где?

— Вот сейчас. Пискнуло.

Ефим прислушался, пожал плечами. Он не слышал. В его годы такой тонкий писк уже не слышат. А у Даниила уши были девятнадцатилетние, и я вдруг понял, что слышу ими лучше, чем своими последние лет двадцать.

— Крысы, поди. Их тут прорва. Я им отраву кладу, а им хоть бы что. — Он поставил передо мной стакан в подстаканнике. — Пейте с дороги-то.

Я выпил. Чай был крепкий, горький и очень горячий. Я протянул стакан за вторым.

— Рассказывай, — сказал я. — Что с узлом?

Ефим сел напротив, положил на стол большие тёмные руки.

— А что рассказывать, барин. Плохо с узлом. Вы ж сами слышите, как гудит. Ревёт, как корова недоеная. По вечерам, как весь город лампы зажжёт, так на Заречье свет садится. А то и вовсе гаснет. Жилы греются. Летом на одном стояне лента загорелась. Вот прям на глазах.

— Где висела?

— У самого зажима, где жилу сращивали, — вздохнул Ефим. — Я ж её сам туда и вешал, пока чинили. От порчи. А она сгорела. Значит, порча сильнее. Сила — она что вода: где тонко, там и рвётся.

Я помолчал. Где тонко, там и рвётся. Загорелась у сростка — значит, контакт там раскалился. Плохой контакт, большая нагрузка, и соединение греется, пока не начнёт поджигать всё, что на нём висит. Объяснять это в первый же вечер было бесполезно. Это я тоже проходил. Сначала нужно что-то починить. Потом уже объяснять.

— Монтёры есть? — спросил я.

— Были. — Ефим загибал пальцы. — Савелий ушёл в мае. Митрич в июне, как сына его жилой обожгло. Прохор в августе, к Зарецким переметнулся, Зарецкие платят больше. — Он разжал ладонь. — Остался я. Да я не монтёр, я смотритель. Я при узле сорок лет. При вашем дедушке ещё начинал.

— Сорок лет, — сказал я.

— Сорок, — кивнул Ефим. — Я тут каждый болт знаю. Каждую бочку. Вон та, — он махнул рукой куда-то за стену, — это вторая. Перекройщик, по-учёному. Она с весны воет. А первая молчит, первая хорошая.

Перекройщик. Железная бочка, в которую входит сила под высоким напором, а выходит — под низким, для города. Я мысленно перевёл: трансформатор. Масляный, судя по виду. «Воет» — значит, перегружен.

А вот «первая молчит»…

Исправный трансформатор под напряжением не молчит никогда. Он гудит, даже когда на нём нет никакой нагрузки. Раз первая молчит — значит, её выключили. И весь город сейчас тянет одна вторая бочка. Неудивительно, что она воет.

Ладно. Это завтра.

— А Крюков кто? — спросил я.

Ефим нахмурился.

— Управляющий у Зарецких. Компания у них, «Зарецкая жильная». Полгубернии под ними. Хотят и наш узел. Приезжали уже, и не раз. Бумаги какие-то совали. Говорят, долгов на узле столько, что лучше продать, пока дают. — Он помолчал. — Может, оно и правда. Бумаги вон, на полке лежат. Я не читал. Я грамоте-то плохо. Письмо вам и то три вечера писал.

Я посмотрел на полку. Там лежала стопка бумаг, перевязанная бечёвкой, толщиной в палец.

Ладно. Завтра.

— Ефим, — сказал я. — А как погиб отец?

В сторожке стало очень тихо. Только самовар тонко посвистывал, да за стеной гудел узел.

Ефим долго молчал. Смотрел в стол. Потом заговорил, тихо и медленно, как говорят о том, о чём много раз думали ночами.

— В апреле это было. Ночью. На заречной тройке одна жила оборвалась. Ветром ли, льдом ли — не знаю. Батюшка-то ваш сам пошёл. Он всегда сам шёл. Не любил, чтоб другие лезли, говорил — надёжнее самому.

Я ничего не сказал. Но внутри что-то неприятно сжалось.

— Мы ту тройку отключили, — продолжал Ефим. — На узле, вот этой рукой, рычаг вниз. Я потом ещё ладонь приложил, проверил. Я сорок лет жилы руками проверяю. Я не ошибся.

Он поднял на меня глаза. Мокрые, красные, старые.

— Жила была мёртвая, барин. Холодная. Я сам проверял.

Он помолчал.

— А его убило.

Глава 3
Тридцать дней

Утром на узле был иней, а к девяти часам приехал пристав.

До этого я с рассвета сидел над стопкой бумаг с полки. Бечёвку, похоже, не развязывали с весны. Внутри были счета за медь, прошлогодние письма из Приказа, две записки от Крюкова с вежливой просьбой «обсудить будущее узла» и копии векселей Волжско-Камского земельного банка. Отец брал под узел деньги. Много, в три приёма. Подлинников векселей в стопке не было, только копии. Где подлинники, я пока не понимал.

Когда к воротам подъехала пролётка, я уже стоял у второй бочки и слушал, как она воет. При дневном свете узел выглядел ещё печальнее, чем ночью. Ржавые бока перекройщиков. Облупленные стояны. Жилы, провисшие так, что в одном пролёте почти касались бурьяна. И ленты, ленты, ленты.

— Барин! — крикнул от ворот Ефим. — К вам!

Пролётка была казённая. Из неё вылез невысокий полный человек в шинели с медными пуговицами, с портфелем под мышкой. Он оглядел узел так, как оглядывают дом, который скоро пойдёт с молотка: быстро, оценивающе и без всякого сочувствия.

— Тальцев Даниил Андреевич? — спросил он.

— Я.

— Судебный пристав Козлов. — Он раскрыл портфель. — Имею вручить вам уведомление. Распишитесь.

Я расписался. Пристав протянул мне бумагу, и я пробежал её глазами.

Казённый язык во всех мирах одинаковый. Через три фразы у меня заныло в висках, как от мелкого шрифта. Но смысл я понял. Те самые векселя. Сорок восемь тысяч рублей. Срок уплаты истёк в сентябре.

— Сорок восемь тысяч, — сказал я вслух.

— С процентами — пятьдесят одна тысяча двести, — поправил пристав. — Держатель векселей готов ждать до первого декабря. Далее — опись и торги.

— В бумаге сказано — банк. А держатель кто?

Пристав посмотрел на меня с некоторым интересом. Видимо, юнцы из столицы таких вопросов обычно не задавали.

— Векселя в августе выкуплены у банка третьим лицом, — сказал он. — Имя держателя указано на обороте.

Я перевернул бумагу.

«Зарецкая жильная компания. В лице управляющего, господина Василия Семёновича Крюкова».

— Понятно, — сказал я.

Вот где подлинники.

Зарецкая. Ефим вчера это уже говорил, а я не связал. Как Аркадий. Губерния, видно, маленькая.

— И вот ещё, — пристав протянул мне второй конверт, плотный, с сургучной печатью. — Из Жильного приказа. Шло на имя покойного, но раз теперь вы владелец…

Он козырнул, сел в пролётку и уехал. Вся процедура заняла четыре минуты. Профессионал.

* * *

Письмо Приказа было коротким.

Ольховский жильный узел подлежит ежегодной ревизии. Ревизия назначена на шестнадцатое ноября. В случае, если узел не обеспечит потребную нагрузку города Ольхова, концессия на узел будет отозвана и передана иному держателю.

Ниже стояла чья-то размашистая подпись и приписка мелким почерком: «Иной держатель — желающих довольно».

На казённой бумаге так не пишут. Похоже, кто-то в Приказе уже знал, кто будет этим «иным держателем».

Я посмотрел на дату. Сегодня было семнадцатое октября.

Тридцать дней.

— Чего там, барин? — спросил Ефим. Он стоял рядом и делал вид, что не заглядывает через плечо.

— Через месяц ревизия. Если узел не потянет город — заберут.

— А долг?

— Долг у Крюкова. До первого декабря. Но если узел заберут, долг платить будет нечем.

Ефим помолчал.

— Хитро, — сказал он наконец. — Так они, значит. С двух концов.

— С двух концов, — согласился я.

Это была хорошая, грамотная схема. Не надо ничего ломать, не надо никого убивать. Просто купить долги и подождать ревизии. Если узел её не пройдёт, концессию отдадут «иному держателю», и я даже догадывался кому. А узел без концессии — это груда ржавого железа, которую Крюков потом заберёт за долги.

Красиво. Я бы восхитился, если бы это делали не со мной.

* * *

Крюков приехал через час. Как будто ждал за углом, пока уедет пристав.

Он подкатил в лёгкой коляске на резиновом ходу, с кучером в синем кафтане. Сам вышел неторопливо, огляделся, поправил шляпу. Лет сорока пяти, гладкий, ухоженный, в хорошем сером пальто. Улыбка у него была мягкая, почти отеческая.

Ефим увидел его, плюнул и ушёл за сторожку. Ружьё он, слава богу, оставил внутри.

— Даниил Андреевич! — Крюков протянул мне руку, стянув замшевую перчатку. — Василий Семёнович Крюков. Счастлив знакомству. Примите мои глубочайшие соболезнования. Батюшка ваш был человек редкий. Редкий.

— Спасибо, — сказал я и пожал руку. Рука была мягкая и прохладная.

— Я, собственно, ненадолго, — сказал Крюков. — Вижу, пристав у вас уже был. Неприятная формальность, но что делать. Вы человек молодой, вам эти дела, должно быть, в тягость. Вы ведь учились?

— Учился.

— Вот и славно. Вот и учитесь дальше. — Он улыбнулся шире. — А узел — это обуза, Даниил Андреевич. Тяжёлая, грязная, опасная обуза. Сами видите. — Он обвёл рукой ржавые бочки и ленты. — Кто его только ни держал — никто не удержал.

— Я слышал.

— Компания готова избавить вас от этого бремени. — Крюков достал из внутреннего кармана сложенный лист. — Мы гасим векселя. Целиком, до копейки. И сверх того платим

вам двадцать тысяч наличными. На учёбу, на жизнь в столице. Вы будете свободный и обеспеченный молодой человек.

Я взял лист и прочитал.

Двадцать тысяч. Плюс долги. Итого около семидесяти. Узел с концессией на губернский город, по самой скромной оценке, стоил тысяч двести. Даже в таком виде. Даже с воющей бочкой.

Треть цены. Причём долг компания заплатила бы самой себе. А живыми деньгами — двадцать. Десятая часть.

— Щедро, — сказал я.

— Мы ценим память вашего батюшки, — скромно сказал Крюков.

Я сложил лист и протянул обратно.

— Нет.

Улыбка на лице Крюкова не дрогнула. Только глаза стали чуть внимательнее.

— Простите?

— Узел не продаётся, Василий Семёнович.

Крюков помолчал. Потом аккуратно убрал лист в карман и вздохнул, как вздыхает учитель над нерадивым учеником.

— Даниил Андреевич, голубчик. Вы ведь понимаете, что через месяц ревизия?

— Понимаю.

— И что узел её не пройдёт? Это я вам не как покупатель говорю, как специалист. Второй перекройщик у вас воет с весны. Первый и вовсе выключен. Монтёров нет. Денег нет. А жилы, знаете ли… — он сочувственно покачал головой, — жилы иногда сами рвутся. Сами. Без всякой причины. Вот как у вашего батюшки.

Он сказал это мягко, участливо. Как будто о погоде.

А я отметил другое. Откуда он знает, что первый выключен? Это видно только со щита, изнутри ограды.

Я посмотрел на него внимательно. Тридцать лет я разговаривал с подрядчиками, чиновниками и директорами. Я знал этот тон. Так говорят люди, которые уже всё решили и теперь только вежливо сообщают тебе о твоей судьбе.

— Жилы сами не рвутся, Василий Семёнович, — сказал я. — Им всегда кто-нибудь помогает. Ветер, лёд, перегрузка. Или человек.

Крюков смотрел на меня секунду. Две. Потом рассмеялся, легко и добродушно.

— Вот! Вот это по-тальцевски! Батюшка ваш тоже любил пошутить. — Он надел перчатку. — Подумайте, Даниил Андреевич. Предложение в силе до ревизии. После ревизии оно, увы, станет… несколько скромнее.

Он кивнул, сел в коляску и уехал.

Из-за сторожки вышел Ефим.

— Ну что? — спросил он хмуро.

— Не продал.

Ефим посмотрел на меня долго. Потом сказал:

— Батюшка ваш так же ему ответил. Слово в слово. «Узел не продаётся». Это в марте было.

— А в апреле его убило, — сказал я.

Ефим ничего не ответил. Перекрестился и ушёл в сторожку.

* * *

После обеда я обошёл узел.

Один, с блокнотом, который нашёл в отцовском столе. Ефим хотел пойти со мной, но я сказал: сам. Мне нужно было не слушать байки, а смотреть. Я так привык. На новом объекте первым делом обходишь всё сам, ногами, и только потом задаёшь вопросы.

Узел был устроен понятно. Сюда с Камского Истока приходила главная тройка под высоким напором. Входила в две бочки-перекройщика. Из бочек выходили тройки пониже напором и расходились по городу: на центр, на заводы, на Заречье, на пристань. Всё это соединялось через щит в кирпичной будке, где стояли рычаги и обереги.

Обычная подстанция. Только старая и больная.

Я шёл от стояна к стояну и записывал.

Вторая бочка выла. Я подошёл вплотную, и гул ударил в зубы так, что пришлось отступить. Бок у бочки был горячий, как печка, а по нему из-под крышки стекало тёмное масло. Перегрев: масло расширяется и гонит через прокладку. Ещё месяц такой работы, и она либо загорится, либо замкнёт.

Первая бочка стояла рядом и молчала. Рычаг на щите — вниз. Я хотел было его поднять, но остановился.

Её выключили. Кто-то, когда-то. Зачем — я не знал. А включать то, что выключено неизвестно почему, — верный способ узнать почему. Самым неприятным образом. Записал в блокнот: «Первая. Выяснить, кто и когда».

Соединения были хуже бочек. На половине стоянов жилы были не срощены, а скручены. Скрутка, перетянутая проволокой, а сверху — лента. Красная, заговорённая. Я тянул ладонь вверх, к скруткам, но не ближе чем на шаг. К живому я не прикасаюсь. Дар отзывался: где ровным теплом, где жаром, как от углей. На трёх соединениях жар был такой, что я отдёрнул руку и отступил ещё на шаг. Там контакт держался, как говорят у нас, на честном слове. И на ленте.

Через два часа у меня был список на четыре страницы. И голова, которая раскалывалась так, будто я весь день просидел под гудящим трансформатором. В общем-то, так оно и было. Дар брал своё.

Я сел на ящик у будки и посмотрел на свой список.

Тридцать дней. Один старик-смотритель. Ноль монтёров. Ноль денег. Одна больная бочка, одна выключенная. И город, который каждый вечер требует света.

Ладно. Бывало и хуже.

Вообще-то не бывало. Но так говорить полезно.

* * *

Вечером, за чаем, я спросил Ефима о главном.

— Ты говорил, жилу отключили. Рычаг вниз. И ты проверил ладонью. Холодная.

— Холодная, — кивнул Ефим.

— А как вы вообще проверяете? Всегда ладонью?

— Так а как ещё, барин? — удивился он. — Живая жила — тёплая. Гудит, если ухо приложить. А мёртвая — холодная. Это все знают.

Я поставил стакан.

Вот оно.

Жила тёплая, когда по ней идёт ток. Когда к ней подключён город, лампы, станки. Ток греет медь, это закон. Да и живая, исправная жила греется едва-едва: в апрельскую ночь на ветру её ладонью и вовсе не почуешь. Греются плохие контакты, а не провод. А если на другом конце никого нет, если линия оборвана или отключена, тока нет. Нагреваться нечему. Жила холодная.

А напряжение при этом может быть. Полное, смертельное. Напряжение не греет. Его ладонью не почувствуешь. До тех пор, пока не замкнёшь собой.

Холодная — не значит мёртвая. Холодная значит только, что ладонь ничего не почуяла.

— Ефим, — сказал я медленно. — Жилу на Заречье отключили здесь, на узле. А другой её конец куда шёл?

— Как куда? На Заречье. По улицам, по домам.

— А больше никуда? На заводы, на мельницы? Может, там кто-то свою силу держал? Свой малый Исток, свой запас?

Ефим нахмурился, подумал.

— Не слыхал, — сказал он. — Да и откуда у кого на Заречье свой Исток? Это ж казённое дело.

Я кивнул и стал перебирать варианты, как на любом разборе аварии.

Ефим перепутал рычаг? Сорок лет на узле. Вряд ли. Наводка с соседней тройки, что идёт рядом на тех же стоянах? Бывает, и убивает. Но заречная тройка идёт по своим стоянам одна, рядом с ней живых жил нет. Остаётся третье.

В тот вечер в Нижней Речке кто-то включил в розетку генератор. И «мёртвая» линия ожила с другой стороны.

Здесь, в апреле, жилу отключили на узле. Проверили ладонью: холодная. А потом отец полез её чинить. И его убило.

Значит, с того конца в неё кто-то подал силу.

Печники про такое говорят «обратная тяга». Когда дым идёт не в трубу, а из трубы в дом. Вот и назову так. Обратная тяга.

Я не знал, откуда она взялась. Не знал, случайно это вышло или нет. Но я знал, как это бывает. Я на собственной шкуре это знал.

— Ефим, — сказал я. — А заземь в ту ночь ставили?

— Заземь? — Он махнул рукой. — Батюшка не любил это. Говорил: пустое, раз холодная. Обряд для старух.

Обряд для старух. Правило, написанное кровью, здесь считали обрядом для старух.

— Какие тройки у нас сейчас отключены?

— Заречную-то Савелий ещё в апреле сростил, до того как уйти, — сказал он. — А отключена одна. Северная. На Сурковскую суконную фабрику. Батюшка ваш её ещё зимой обрезал, за неуплату. Сурков, купец, полгода не платил, вот он и обрезал. Она с тех пор мёртвая стоит.

— Где у неё вывод?

— Да вон, за будкой. Крайний стоян. А что?

— Ничего, — сказал я. — Спать иди.

* * *

Я вышел, когда Ефим уже храпел.

Ночь была ясная, морозная. Узел гудел за спиной, вторая бочка подвывала. Луна светила так ярко, что я видел каждую ленту на стоянах.

Крайний стоян за будкой. Северная тройка. Рычаг на щите — вниз, я проверил. Жилы уходили в темноту, к городу, к фабрике, которую обрезали за неуплату.

Мёртвые.

Я подошёл к стояну. Нижний вывод был на уровне груди: стальной зажим, медный хвост жилы, закопчённая чашка изолятора в изморози. Низко. Слишком низко для вывода под напором. Кто-то здесь очень хотел, чтобы до него было удобно дотянуться.

Нормальный человек сейчас пошёл бы за указателем напряжения. Но указателей здесь не было. Здесь была ладонь. И у меня была ладонь, которая слышит.

Я не стал касаться самой жилы. Я положил руку на деревянный стоян, чуть ниже изолятора. Днём я себе такого не позволял. Мороз, дерево сухое. Рискую. Но в меру.

И прислушался.

Сначала ничего. Тишина и холод.

Потом, очень слабо, как пульс под пальцами у спящего человека, я почувствовал.

Тонкую, едва заметную струйку. Она шла с жилы по грязной, заиндевелой чашке изолятора в дерево стояна. Утечка. А утекать может только с живой жилы.

Северная тройка не была мёртвой.

Глава 4
Сначала заземление

Ефима я разбудил в начале второго ночи.

Он сел на лавке, нашарил ружьё и только потом открыл глаза.

— Кто?

— Я. Одевайся. Идём гулять.

— Куда, барин? — Он посмотрел в чёрное окно. — Ночь же.

— Северная тройка живая.

Ефим застыл с одним валенком в руке.

— Да как живая? Я ж сам… рычаг-то внизу.

— Рычаг внизу, — согласился я. — А жила живая. Значит, сила в неё идёт не от нас. С того конца. Хочу посмотреть, откуда.

Ефим посидел. Потом молча натянул второй валенок, снял с гвоздя фонарь и тулуп.

— Ружьё брать? — спросил он.

Я подумал.

— Бери. Но не стреляй.

* * *

Северная тройка шла от узла вдоль оврага, по окраине, к суконной фабрике Суркова. Версты две. Мы шли под ней, от стояна к стояну, и я слушал.

Близко к жилам я не подходил. На каждом третьем стояне я останавливался и клал ладонь на дерево, ниже изоляторов, как час назад у будки. И каждый раз ловил ту же тонкую утечку: слабое покалывание, как от шерстяной варежки. Жила оставалась живой всю дорогу. Не сильно. Но не мёртвая.

— А может, это… — Ефим замялся. — Может, она сама? Ну, от старой силы. Батюшка ваш, бывало, говорил, жила после отключения ещё дышит.

Я остановился и посмотрел на него.

— Он так говорил?

— Говорил. Что, мол, отключишь — а она ещё дышит. Потому и надо ждать.

Я покачал головой. Отец знал больше, чем записал. Отключённая жила и правда может ударить. Только дышит она не сама. И не с зимы же.

— Это не старая сила, — сказал я. — Старая давно бы ушла. Её кто-то подаёт.

С версту от узла стояны северной тройки подходили к оврагу. Здесь, в узком проходе над оврагом, заречная тройка на пару пролётов сходилась с городской, той, что на центр: две линии рядом, в десятке шагов друг от друга. А северная пересекала их обе. На одной высокой опоре она шла понизу, заречная поверху, каждая на своих изоляторах.

Я остановился под общей опорой. И сразу понял.

Дар взвыл. Здесь гудело так, что заныли зубы. Сверху, с заречной тройки, шёл сильный ровный поток. А на нижней, северной, — тот же поток, только тоньше. Как будто их кто-то соединил.

— Фонарь, — сказал я. — Подними повыше.

Ефим поднял. Жёлтый свет упал на опору.

От верхних жил к нижним тянулись три медных провода. По одному на каждую жилу. Толстые, новые. Там, где сползла тёмная тряпка, медь блестела. Их навесили на крюках, с

длинного шеста, прямо под силой: подцепил, дёрнул — и висит. А чтобы никто не заметил, обмотали тряпкой.

Перемычки.

Кто-то взял живую заречную тройку и соединил её с отключённой северной. И сила пошла по северной. В одну сторону — к фабрике Суркова. Бесплатно. Туда шёл ток, потому его и было слышно здесь, под опорой.

А в другую — к нам. На узел. На вывод, который на уровне груди. На «мёртвую» жилу, за рычагом, который внизу. Туда шёл не ток, а напор. Он стоял у рычага и ждал. Ток гудит, напор молчит. Поэтому всю дорогу я слышал его только ладонью.

— Подсос, — сказал Ефим глухо. — Батюшка ваш такие находил. Два раза. Заявление писал.

— И что?

— А ничего. — Он помолчал. — А я гляжу — у Суркова по ночам окна горят. Думал, свечи жгут.

— Значит, Сурков знал, что ничего не будет.

— Сурков никого не боится, — сказал Ефим. — У Суркова свояк — полицмейстер.

Я молча смотрел на перемычки.

Вот так и гибнут люди. Не от злого умысла. От жадности и лени. Купцу было жалко платить. Его монтёру было лень думать, что будет с тем концом. И если завтра кто-то на узле полезет к северной тройке, проверив её ладонью, — его убьёт. Как убило отца.

В апреле такой перемычки быть не могло. Северную обрезали ещё зимой, заречную в тот день отключили на узле. Тянуть было неоткуда. Значит, там было что-то другое. Но схема та же. Обратная тяга. Сила, которая приходит не с той стороны, откуда её ждут.

— Снимаем, — сказал я.

— Сейчас? — Ефим посмотрел на перемычки, потом на меня. — Барин, они ж под силой. С двух концов. Убьёт.

— Убьёт, если снимать как попало. Мы снимем правильно.

* * *

Правильно — значит, по порядку. Этот порядок я знал наизусть, как молитву. Тридцать лет я заставлял молодых повторять его вслух перед каждой работой. Отключить. Повесить знак. Проверить, что напряжения нет. Заземлить. Только потом трогать.

Не наоборот. Никогда наоборот.

Сначала — отключить. Перемычки держали силу от заречной тройки. Значит, отключать надо заречную. На узле.

Мы вернулись. Две версты туда и обратно по морозу в два часа ночи — это не то, о чём мечтаешь в девятнадцать лет. И уж тем более в пятьдесят четыре.

В щитовой будке было темно. За стеной выла вторая бочка. Ефим светил фонарём. Я нашёл рычаг заречной тройки.

— Заречье без света останется, — сказал Ефим.

— На час-другой. Ночью там все спят. Переживут.

Я взялся за рычаг. И тут из-под щита, из щели между стеной и медными шинами, на меня глянули два глаза.

Маленькие, круглые, зелёные. Как у кошки, только меньше.

Я застыл. Ефим тоже увидел — и сразу полез в карман тулупа.

— Ах ты ж… — прошипел он. — Опять тут, паскуда. А я-то на крыс грешил. Сейчас, барин, я его…

В руке у него была жестянка. Отрава.

— Стой, — сказал я.

Существо вылезло из щели целиком. Оно было размером с крупную крысу, длинное, гибкое, похожее на хорька. Только мех у него был не бурый, а тёмно-серый, с голубоватым отливом. И по шерсти, по самым кончикам ворса, бегали крошечные синие искры. И зверёк тихо попискивал. Тот самый писк, который я слышал в первый вечер.

— Искрик, — с ненавистью сказал Ефим. — Силу жрёт. От них все беды. Где искрик завёлся — там жила гниёт. Дайте, барин, я его…

— Подожди.

Искрик не убегал. Он сидел на шине и смотрел на меня. А потом повернулся и прижался боком к одному месту — к болтовому соединению на шине второй бочки. Прижался и затих, жмурясь, как кот у печки.

Я поднёс ладонь, не ближе шага. Дар ответил жаром. Соединение было горячее. Плохой контакт. Сила там сочилась мимо, утекала, грела медь.

Искрик пил эту утечку.

Не он портил жилы. Он приходил туда, где они уже были испорчены. Ефим видел искрика у гнилой жилы и думал, что искрик её сгноил. А было наоборот.

— Он не вредитель, Ефим, — сказал я. — Он указатель.

— Чего?

— Он показывает, где утечка. Где плохой контакт. Где греется. Вот, смотри — к какому болту прижался? Горячий болт. Перетягивать надо.

Ефим смотрел на искрика, на болт, на меня. На лице у него была такая сложная борьба, что мне стало его жаль. Сорок лет он травил этих зверьков.

— Убери отраву, — сказал я. — Пожалуйста.

Ефим медленно убрал жестянку в карман.

— Чудной вы, барин, — сказал он. — Совсем как батюшка. Тот тоже их не травил. Говорил, жалко.

Искрик ещё раз сверкнул на меня глазами и исчез в щели. Искорки на его шерсти погасли последними.

Ладно. Потом разберёмся. Сначала дело.

Я опустил рычаг заречной тройки.

Гул в будке стал тише: от второй бочки ушла часть нагрузки. В открытую дверь было видно, как за рекой погасли фонари Заречья.

Отключить — сделано.

Теперь знак.

Я взял с полки дощечку, кусок угля и написал крупно: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ. НА ЖИЛЕ ЛЮДИ». Повесил на рычаг. Потом подумал и примотал рычаг к скобе проволокой. Знак — это хорошо. Проволока лучше.

— Это зачем? — спросил Ефим.

— Чтобы, пока мы там, никто его не поднял. Ни ты, ни я, ни Крюков, ни святой дух.

— Да кто ж ночью…

— Вот и я не знаю кто, — сказал я. — А тот, кто включит, не спросит, работаешь ли ты на жиле.

* * *

Обратно к оврагу мы шли с поклажей. Ефим нёс фонарь, топор, длинный сухой шест и ружьё за спиной. Я — моток толстого медного провода из кладовой, железный штырь, отцовские монтёрские когти и второй шест, такой же длинный. К нему я привязал матовый шар-светильник, что висел в будке на крюке. Медный колпачок шара я развернул кверху. Им и

собирался касаться жилы. А сбоку к шару прикрутил короткий хвост провода, на пядь, торчком: чтобы ток через шар было куда отдать.

Указатель напряжения. Самодельный, кривой, но честный.

Я помнил это ещё с техникума. Если коснуться жилы под высоким напряжением лампой на изолирующей палке, через лампу пойдёт крошечный ток. Не по цепи, а просто в воздух, в провод, в собственное тело лампы. Этого хватит, чтобы она слабо засветилась. А на мёртвой жиле она останется тёмной. Здешние шары светились от силы так же, как наши лампы от тока. Я надеялся, что это сработает и здесь.

С пригорка перед оврагом Ефим вдруг остановился и показал рукой.

— Гляньте, барин. У Суркова темно.

На краю города, где час назад светились фабричные окна, стояла чёрная коробка.

— Заречную мы выключили, — сказал я. — А с ней и Суркова.

У оврага я сначала проверил указатель на живом. Живой рядом осталась только городская тройка, та, что идёт на центр. Я сходил к её соседнему стояну. Поднял шест и коснулся колпачком её жилы.

Шар слабо засветился голубым.

— Ишь ты, — сказал Ефим.

— Работает, — сказал я. — Теперь смотри.

Я вернулся к общей опоре. Коснулся шаром верхних жил, заречных, по очереди. Темно. Нижних, северных. Темно. Перемычек. Темно.

Дар тоже молчал. Я положил ладонь на заиндевелое дерево опоры. Ничего. Ни потока, ни покалывания.

— Мёртвая, — сказал Ефим.

— Проверено, — поправил я. — Мёртвая — это когда заземлил.

Я вбил железный штырь в мёрзлую землю у подножия опоры. Бил обухом топора, Ефим светил. Земля промёрзла на вершок, дальше пошла мягкая, сырая. Я загнал штырь по колено. Потом нарезал провода и сделал связку: три коротких конца, скрученных в один. Потом вторую такую же. Длинные хвосты от обеих прикрутил к штырю. Первую связку закинул на крюк длинного шеста.

— Отойди, — сказал я Ефиму. — На три шага. Мало ли.

— Так мёртвая ж.

— Отойди.

Он отошёл.

Я поднял шест и зацепил концы связки за верхние жилы, по одному. Крайнюю, ту, что ближе к городской, — последней. Закоротить и посадить на землю.

Щёлкнуло.

Коротко, сухо. Между проводом и крайней жилой проскочила синяя искорка, с ноготь. Ефим охнул, присел и вцепился в ружьё.

Потом стало тихо.

— Это что было? — шёпотом спросил он. — Барин, она ж мёртвая была! Шар не горел!

— Шар не горел, — сказал я. — Шар слабое не видит. А рядом идёт городская, живая. Жила возле живой набирается от неё. Немного. Шару мало, а человека дёрнет. Вот она и отдала — в землю, а не в меня.

— Так это… батюшка ваш и говорил. Дышит.

— Не дышит она, Ефим. От соседки набирается.

И тут я подумал об отце. Наводку я вечером отбросил: решил, что заречная идёт одна. А она не одна. Только рядом с городской она идёт два пролёта, здесь, над оврагом. С такого куска — искорка, а не смерть. Отца убило другое.

Ефим всё смотрел на штырь. Долго.

— Это, выходит, заземь, — медленно сказал он. — Это вот она и есть.

— Она и есть.

— А я думал… — Он махнул рукой. — Я думал, это так. Для порядка. Как ленту повесить.

— Лента — для порядка, — сказал я. — А это — чтобы домой вернуться.

Вторую связку я так же зацепил за нижние жилы, северные. Искры не было: эти жилы уже сидели на земле через перемычки. Но когда я сниму перемычки, северная повиснет сама по себе. Пусть висит заземлённая. Только потом, когда обе тройки были закорочены и посажены на землю, я надел когти и полез на опору.

Перемычки я снимал минут двадцать. Руки мёрзли, крюки примёрзли к жилам и сидели туго. Работали, видно, не дураки. Ефим светил снизу и тихо ругался — то ли на Суркова, то ли на мороз, то ли на меня.

Наконец третий медный провод упал в заиндевелую траву. Я спустился и собрал все три. Новенькие. Хорошая медь. Дорогая.

— Пригодится, — сказал я.

Потом мы сняли заземление: сначала с жил, потом из земли. Строго в обратном порядке. Вернулись на узел. Я размотал проволоку на рычаге, снял дощечку и поднял рычаг заречной. Вышел из будки.

За рекой одна за другой зажглись фонари Заречья.

А северная тройка, за своим рычагом, который внизу, затихла. Я проверил. Ладонью и шаром.

Но мёртвой я её называть не стал. Мёртвая — это когда заземлил. Я вбил у будки тот же штырь, скрутил из остатков третью связку и набросил её на все три вывода северной. Перемычки можно повесить снова. Пусть тогда сила уходит в землю, а не в человека.

Было без четверти пять. Я сел на ящик у будки, и меня вдруг затрясло. Не от холода. Просто так бывает после работы под напряжением. Отпускает.

И только теперь заломило виски. Тупо, тяжело, как после бессонной смены. Под опорой дар взвыл, а платить пришлось сейчас.

Ефим принёс мне кружку горячего чая. Постоял рядом.

— Барин, — сказал он. — А покажите мне потом. Как вы этот шар-то… ну, проверялку. Я тоже хочу. Чтоб не ладонью.

Я посмотрел на него.

Всю жизнь старик проверял жилы ладонью. И вот, в шестьдесят с лишним, в пять утра, на морозе, попросил научить по-другому.

— Покажу, — сказал я.

* * *

Полицмейстер приехал в девять.

Высокий, грузный, в шинели с серебряным шитьём. Лицо у него было такое, будто перед ним всю жизнь снимали шапку и он уже перестал это замечать. С ним были двое городовых. Он не стал заходить за ворота. Встал в воротах, заложил руки за спину и оглядел узел, как свой огород.

— Тальцев? — спросил он.

— Я.

— Полицмейстер Ольхова, Гаврила Петрович Буслаев. — Он не протянул руки. — Мне доложили, что этой ночью на северной окраине некто повредил имущество купца первой гильдии Суркова. Медный провод-с.

— Провод висел на моей жиле, — сказал я. — Без разрешения. Это называется кража силы. За неё полагается штраф. Я могу написать заявление.

Буслаев посмотрел на меня сверху вниз. Неторопливо, тяжело.

— Можете-с, — сказал он. — Я его даже приму. И положу в стол. Где и батюшкины ваши заявления лежат.

— А провод?

— Провод вы вернёте. Сегодня. Купец Сурков — человек уважаемый, благотворитель. Больницу кормит. А вы, сударь мой, второй день в городе.

— Верну, — сказал я. — Охотно. Только запишите, Гаврила Петрович: медь, которую я снял с жилы узла, принадлежит купцу Суркову. Он за ней сам пришлёт? Или вы отвезёте?

Один из городовых кашлянул в кулак.

Буслаев долго смотрел на меня. Лицо у него не изменилось. Только глаза стали внимательнее.

— Остры вы, сударь мой, — сказал он наконец. — Батюшка ваш тоже был остёр. — Он помолчал. — Я вас предупреждаю один раз. По-хорошему, как сына покойного. Ещё раз тронете чужое — посажу. За самоуправство и порчу имущества. И узел ваш на время следствия опечатаю.

Он развернулся и пошёл к пролётке. Городовые потопали за ним.

Ефим стоял у меня за спиной.

— Свояк, — сказал он тихо. — Говорил же я вам.

— Говорил, — согласился я.

Я смотрел вслед пролётке. Опечатать узел на время следствия. За месяц до ревизии.

Это была уже не угроза. Это был план.

Глава 5
Почему горит перекройщик

К полудню вторая бочка задымила.

Я как раз сидел на ящике у будки и пытался понять, сколько я не спал. Выходило — вторые сутки. Голова гудела не хуже бочки. До ревизии оставалось двадцать девять дней.

— Барин! — Ефим выскочил из-за угла без шапки. — Барин, горит!

Я встал.

Над второй бочкой поднимался дым. Не чёрный, а сизый, жирный, и пах он не гарью, а горячим маслом. Так пахнет сковородка, которую забыли на плите.

Я подошёл. Не вплотную, на два шага. Ближе не пускал гул: он бил в зубы, в виски, в самые корни волос. Из-под крышки, по шву, сочилось масло и тут же курилось на горячем боку.

— Не горит, — сказал я. — Пока не горит. Масло гонит через прокладку, оно и курится.

— А как загорится?

— Тогда весь город сядет в темноту. И надолго.

Ефим перекрестился на бочку, как на икону.

Я стоял и слушал. Первый раз я слушал не всю бочку целиком, а то, что из неё выходило. Из второй бочки на город уходила городская тройка, та, что на центр: три жилы на одних стоянах. И дар вдруг разложил их гул, как аккорд на ноты.

Две жилы гудели ровно, вполголоса. А третья, нижняя, ревела. Вдвое громче остальных. Не на чуть-чуть. Вдвое.

В виске кольнуло тонко, как иглой. Так дар раньше не умел. И брал он за это, видно, отдельно.

Вот оно что.

— Ефим, — сказал я. — Кто сажал дома на эту тройку?

— Как кто? Монтёры. Прохор больше, весь последний год.

— А на какую жилу сажал?

Ефим поскрёб в затылке.

— Так на нижнюю. До неё с лестницы достать. А до верхних лезть надо.

Дом ведь садится не на одну жилу, а на пару, на две из трёх. И почти все пары, какие я видел на этой тройке, шли через нижнюю.

Я закрыл глаза. Половина аварий в мире начинается не с бури и не с вредителя. С лестницы.

* * *

Из компании приехали через час. Дым над узлом, похоже, разглядели с пристани.

Пролётка была хорошая, лакированная. Из неё вышел господин лет пятидесяти, в длинном сюртуке цвета сырой золы, с тростью. На трости был набалдашник из мутного камня. За ним вылез второй, помоложе, в картузе и в рабочей куртке, с деревянным сундучком на плече.

Ефим, стоявший рядом со мной, вдруг перестал дышать.

— Прохор, — сказал он.

Молодой посмотрел на него и тут же отвёл глаза.

— Здорово, дядь Ефим.

Господин с тростью не обратил на это внимания. Он смотрел на бочку. Долго, с удовольствием, как оценщик на чужое добро.

— Мастер-оберегатель Ипполит Карлович Сазонов, — сказал он наконец, не поворачиваясь. — Зарецкая жильная компания. Василий Семёнович узнал о вашей беде и прислал меня. По-соседски.

— Как быстро Василий Семёнович узнаёт о моих бедах, — сказал я.

— Дым видно на полгорода, сударь. — Сазонов повернулся ко мне. Лицо у него было холёное, гладкое. — Ваш перекройщик гневается. Это слышно даже без дара.

— Гневается, — согласился я. — И на что, по-вашему?

Сазонов улыбнулся. Ему нравилось объяснять.

— В каждом перекройщике живут три духа силы. Три жилы, как завещали Первые мастера. Пока духи в согласии, перекройщик поёт. А когда один пересилит двух других, начинается гнев. Ваш оберег ослаб и больше не держит согласия. Его нужно усилить. Три новые печати, заговор на ночь. Шестьсот рублей, и к утру всё утихнет.

Я слушал и думал, что он почти прав. Почти во всём. Три жилы. Одна пересилила двух других. Он описал перекос фаз, как его описала бы старуха-знахарка: точно по признакам и мимо по сути.

— А что делает оберег, Ипполит Карлович? — спросил я.

— Хранит перекройщик от гнева.

— Как именно хранит?

Сазонов посмотрел на меня, как лекарь на больного, который спорит с диагнозом.

— Когда гнев становится нестерпимым, оберег разрывает связь. Бочка засыпает и остывает.

— То есть выключает её. Сам. Пока она не сгорела.

— Можно сказать и так.

— А усилить оберег — значит, чтобы он терпел дольше. Не выключал.

— Именно.

— Тогда она не выключится, — сказал я. — Она сгорит.

Прохор за спиной Сазонова переступил с ноги на ногу. Сундучок на его плече качнулся.

Сазонов помолчал. Улыбка у него осталась, только стала тоньше.

— Вы, кажется, учились в Училище Жил, Даниил Андреевич? Я слышал, вас отчислили. Слухач. Дар пустой.

— Отчислили, — сказал я. — Пойдёмте, я вам кое-что покажу.

Я провёл его в будку. Ефим шёл следом, Прохор остался у ворот.

Щит был тёплый. Оберег второй бочки висел на своём месте: медная пластина с выбитыми знаками, на двух болтах, в стороне от шин. Я показал на него.

Я взял шест с шаром, который так и стоял у стены с ночи, и коснулся пластины колпачком. Темно. Потом положил на оберег свою ладонь. Холодный.

— Положите ладонь, Ипполит Карлович. Он не под силой, я проверил.

Сазонов поколебался. Потом положил. Подержал.

— Холодный, — сказал я. — Ваш оберег тут ни при чём. Он вообще не сработал ни разу: бочка воет с весны, а её так и не выключило. А теперь вот сюда. Только ладонь на шаг, не ближе. Тут живое.

Я показал на болтовое соединение на шине второй бочки. То самое, к которому ночью прижимался искрик.

Сазонов поднёс руку. Даже он, не слухач, почуял жар с шага. Он отдёрнул ладонь.

— Горячо, — сказал он.

— Горячо, — согласился я. — Беды тут две, мастер. Первая — в бочке. Нижняя жила тянет вдвое больше двух других. А греется от этого не вдвое, а вчетверо. Жар растёт быстрее тока. Вот обмотка этой жилы и греет масло, оно и курится. А вторая беда — здесь. Плохой контакт. Медь окислилась, болт ослаб. Сила идёт через него, как вода через засор. Чем горячее,

тем хуже контакт. Чем хуже контакт, тем горячее. И стоит этот болт как раз на нижней жиле. На той, на которую ваш Прохор весь год сажал новые дома, потому что до неё с лестницы достать.

Сазонов молчал.

— Это не гнев, мастер. Это болт и лестница. И стоит это не шестьсот рублей, а гаечный ключ и день работы.

Ефим за моей спиной тихо, с наслаждением крякнул.

Сазонов медленно вытер ладонь платком. Посмотрел на щит. Потом на меня.

— Вы очень уверены в себе для слухача, молодой человек, — сказал он. — Когда она загорится, а она загорится, пришлите за мной. Цена будет двойная.

В дверях он задержался и ещё раз оглянулся на щит. Быстро, коротко. Так смотрит человек, который понял больше, чем сказал.

Он вышел. Я слышал, как он сказал у ворот: «Прохор, едем». Хлопнула дверца.

Я вышел следом. Пролётка уже тронулась. Прохор не сел в неё. Он стоял у ворот с сундучком и смотрел не на меня, а на первую бочку.

— Даниил Андреевич, — сказал он тихо. — Первую не включайте.

— Почему?

— Её в ту ночь выключили. Когда батюшку вашего… — Он запнулся. — Оберег на ней заклинило. Поднимете рычаг — не знаю, что будет. Никто не знает.

— Кто выключил?

Прохор поднял на меня глаза. Серые, усталые, виноватые.

— Я, — сказал он.

С пролётки крикнули: «Прохор!» Он повернулся и побежал догонять.

Я стоял у ворот и смотрел ему вслед. Вот откуда Крюков знал, что первая бочка выключена. «Видно только со щита». А кто видел щит в ту ночь? Прохор. Который через четыре месяца ушёл к Зарецким.

— Ефим, — сказал я. — Почему ты мне не сказал, что первую выключил Прохор?

— Так я ж не знал, барин. — Ефим смотрел вслед пролётке. Лицо у него стало землистым. — Я заречную тогда опустил, вот этой рукой, да с батюшкой вашим к стояну ушёл. А в будке Прохор оставался. А после… после не до бочек было.

Он не договорил.

Я записал в блокнот: «Первая. Выключил Прохор, в ночь гибели. Оберег заклинило. Почему?» И подчеркнул два раза.

А ниже ещё одну строчку: «Оберег второй. Масло дымит, а он не сработал. Почему?»

Это потом. Сейчас горела вторая.

* * *

Чинить болт под силой нельзя. Это я знал так же твёрдо, как своё имя. Своё прежнее имя.

Значит, вторую бочку надо выключать. А первая молчит. Значит, город останется без света. Весь.

Я посмотрел на солнце. Два часа дня. Самое удачное время, если такое вообще бывает: светло, лампы не горят, заводы на обеде. Час без силы город переживёт. Три — поворчит. А если бочка загорится вечером, город будет сидеть в темноте неделю.

— Ефим, — сказал я. — Беги на пристань, на завод и в больницу, к доктору. Скажи: узел встаёт на починку. До сумерек. Пусть доктор до темноты ничего не начинает.

— А вы?

— А я начну.

— Барин, давайте я с вами. Я подержу, посвечу…

— Беги, Ефим. Без тебя они не поверят. А без меня бочка не встанет.

Он посмотрел на меня, хотел что-то сказать и не сказал. Ушёл.

Я опустил рычаг второй бочки.

Гул оборвался разом, как ножом. Только масло ещё потрескивало на горячем боку. А потом стало так тихо, как бывает после колокола, когда звон уже кончился, а в ушах ещё стоит. Я услышал воробьёв на крыше будки. За всё это время я ни разу их не слышал.

Я постоял у бочки. Масло курилось всё слабее. Через полчаса перестанет.

Потом посмотрел на первую.

Если бы она работала, я перекинул бы город на неё и чинил вторую спокойно, без темноты. Один рычаг вниз, другой вверх. Полминуты. Рука сама потянулась к щиту.

И остановилась. Теперь я знал, кто её выключил. Но не знал, почему. А включать то, что выключили неизвестно почему, — верный способ узнать почему. Я это уже говорил себе вчера. Правило от этого хуже не стало.

Знак. Дощечка, уголь: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ. НА ЖИЛЕ ЛЮДИ». Проволока на рычаг.

Проверить. Шар на шесте, колпачком ко всем трём шинам. Темно. Ладонью, на шаг. Ничего.

Заземлить. Я скрутил связку, посадил её на землю у будки, набросил на шины. Искры не было. Только потом я взял ключ.

Ефим вернулся, когда я уже разобрал соединение. Запыхавшийся, красный.

— Сказал, — выдохнул он. — На пристани ругаются. На заводе пожали плечами: у них обед до трёх. А доктор велел передать: ждёт до сумерек, а потом режет, хоть при свечах… — Он увидел шест с шаром у меня под рукой. — Барин, а дайте я проверю. Как вы ночью. Я смотрел, я запомнил.

— Уже проверил, — сказал я. — Подай лучше напильник.

Он подал. Постоял. Отошёл к двери.

Медь внутри соединения была чёрная. Не тёмная, а именно чёрная, как сажа, с зеленью по краям. Окалина. Болт был ослаблен на полоборота. Полоборота — а сколько от этого жару.

Я зачищал медь, пока она не заблестела. Обе поверхности, до чистого металла, ровно, чтобы ложились друг на друга всей плоскостью, а не краешком. Потом собрал соединение, добавил третий болт и затягивал их по кругу, понемногу каждый, как затягивают колесо. Не со всей силы, а ровно.

На двух других жилах соединения были получше, но я перебрал и их. Если уж разбирать, то всё.

Это была половина дела. Вторая половина висела на стоянах по всему городу.

* * *

Перекос не чинят ключом. Его чинят руками и ногами.

Нижняя жила тянула вдвое, потому что через неё сажали всё подряд: дома, лавки, фонари. Значит, часть отводов надо было пересадить. Снять с пары, где нижняя, и посадить на пару верхняя со средней. Чтобы на каждую жилу пришлось поровну.

Сила была снята со всего города, и лучше времени для этого не будет.

Я надел отцовские когти, взял ключ, моток провода, шест с шаром, штырь, топор и вторую связку и пошёл по тройке. Тройка сидела на земле у щита. Но земля с одной стороны — это половина земли. Отца убило с того конца. Поэтому у каждого стояна, где лез наверх, я сначала касался жил шаром, потом вбивал штырь и набрасывал связку. И только потом лез. Отработал — снял, вытащил штырь, понёс к следующему. Одному на это уходит полдня. Вдвоём один ставит землю, другой работает. Обратная тяга мне за эти сутки уже мерещилась.

— Барин, — сказал Ефим, догоняя. — Я ж знаю, где какие отводы. Где Прохор кого сажал. Я вам покажу, быстрее будет…

— Я услышу, — сказал я. — Иди к узлу, Ефим. Сторожи рычаг.

— Да кто его тронет, он же проволокой…

— Сазонов далеко не уехал. Проволоку и снять можно. Ефим.

Он остановился.

— Батюшка ваш тоже всё сам ходил, — сказал он мне в спину. Негромко.

Я пошёл дальше.

«Я услышу», — сказал я. И только на третьем стояне понял, что сморозил. Сила была снята. Слушать было нечего. Я полез наверх и увидел три отвода, и все — через нижнюю. Какой из них куда, какой нагружен сильнее — без тока не скажешь. Пришлось идти по каждому отводу глазами, от стояна до дома, считать окна и прикидывать.

Ефим знал бы это наизусть. Но я его отослал. Вернуться — значит признать. Я полез на четвёртый.

Я лазил по стоянам до сумерек. Пересадил двенадцать отводов. Кожевенная и половина Мещанской ушли с нижней на верхнюю пару. Лавки у рынка я оставил как были: там стояли чужие отводы, и разбираться с ними одному было уже некогда.

К четырём руки перестали чувствовать ключ. К пяти голова раскалывалась так, что я спускался со стояна медленно, по одному шагу, как старик. Пятьдесят четыре года вдруг догнали девятнадцатилетнее тело.

* * *

Когда я вернулся на узел, было уже темно. Ефим сидел на ящике у будки, с фонарём, и смотрел на рычаг. Как я велел.

— Всё? — спросил он.

— Всё, что успел. Снимаем землю.

Снял связку с шин, потом от земли. Рассказал ему, кого куда посадил: Кожевенную и половину Мещанской — с нижней на верхнюю пару. Размотал проволоку, снял дощечку. Взялся за рычаг.

И остановился.

Вот сейчас. Если я ошибся, если где-то пересадил не так, если болт затянут криво — я это узнаю через секунду. Вместе со всем городом.

Я поднял рычаг.

Бочка загудела.

Я ждал воя. Того, к которому привык за эти дни. Но воя не было. Был гул, ровный, низкий, мощный. Как у исправной машины, которая просто работает.

Я подошёл и встал рядом. Прислушался. Три жилы гудели почти одинаково. Нижняя ещё чуть громче, но не вдвое. Громче на четверть, не больше.

— Не воет, — сказал Ефим. Тихо, будто боялся спугнуть. — Барин. Она не воет. Первый раз с весны.

Я поднёс ладонь к боку бочки, на шаг. Тёплая. Рано радоваться: она за день остыла. Настоящая проверка будет через час, на вечернем пике. Но главное было не в тепле. Главное было в гуле.

Мы с Ефимом вышли за ворота, на край пригорка.

Внизу, на окраине, горела Кожевенная. Не пожаром, а окнами. Жёлтыми и ровными, как бусины на нитке. Не тлеющими, как все эти вечера. Дальше, за поворотом, светилась Мещанская — та половина, что я пересадил. Отсюда, с пригорка, были видны даже фонари у калиток.

— Это ж они с лета без света сидели, — сказал Ефим. — Каждый вечер. Как зажгут — так тлеет еле-еле, хоть свечку жги.

— Знаю, — сказал я. — Они сидели на нижней жиле, на самом конце. Жила перегружена, к вечеру нагрузка растёт, напор на конце проседает. Им доставались одни остатки.

Ефим смотрел на окна. Потом на меня.

— Барин, — сказал он осторожно. — А больница-то на том конце. На верхней жиле сидит. Ей и так всегда мало было. А вы ведь Кожевенную на верхнюю…

Я прикинул. Верхняя теперь не тяжелее нижней. Выдержит. Пик пройдёт.

— Завтра, Ефим, — сказал я. — Всё завтра.

Я сел обратно на ящик. Мне нужно было пять минут. Просто посидеть. Просто закрыть глаза.

Открыл я их оттого, что Ефим тряс меня за плечо. Фонарь у него в руке ходил ходуном. Было совсем темно, и бочка за спиной гудела уже не ровно, а натужно, на пределе. Вечерний пик.

А в ворота колотили. Кулаком, со всей силы.

— Тальцев! — кричал кто-то с улицы. — Тальцев здесь?

Ефим открыл. В калитку ввалился мужик в белом фартуке поверх тулупа. Фартук был в пятнах. Тёмных.

— Доктор Лемке послал, — выдохнул он. — В больнице свет сел. В операционной лампы еле тлеют. А у доктора на столе ребёнок.

Глава 6
Первая категория

До больницы было две версты, и бежать туда было бессмысленно. Свет доктору я мог дать только отсюда, с узла.

— Сколько у него времени? — спросил я санитара.

— Не знаю. — Он вытер лицо рукавом. — Доктор сказал: беги. Я и побежал.

Я встал. Голова гудела, но думать уже было можно.

Бочка выла на пределе. Вечерний пик: весь город разом зажёг лампы, и вся эта сила шла через вторую бочку. Одну-единственную. От напора на самом конце городской тройки оставались крохи. Больница сидела на этом конце.

Ефим был прав. Кожевенную я посадил на ту же верхнюю пару, где больница. Мальчик на столе — это моя арифметика.

Пересаживать отводы ночью, на ощупь, — долго. Значит, надо снять с бочки нагрузку. Не с больницы. С кого-то другого.

Я вошёл в будку и посмотрел на рычаги. Центр. Заводы. Заречье. Пристань.

Пристань. Склады, конторы, кабаки. Вечером там считают деньги и пьют. Ни то, ни другое не умрёт до утра.

Я опустил рычаг пристани.

Бочка вздохнула. Гул стал тише, ровнее, без дребезга. Я слушал её секунд десять. Напор на шинах поднялся. Не сильно, но поднялся.

— Ефим, — сказал я. — Повесь на рычаг пристани знак. Если кто придёт ругаться — скажи, до утра. Я в больницу.

— Барин, вы ж на ногах не стоите…

— Значит, поеду на санитаре.

Санитар, кажется, принял это всерьёз.

* * *

Больница стояла на северной окраине, у самого оврага. Двухэтажная, кирпичная, с садом за чугунной оградой. В окнах первого этажа горел свет. Не яркий, жёлтый, с рыжиной, но горел.

Доктор вышел ко мне через полчаса. Высокий, сухой, лет пятидесяти, в халате с засученными рукавами. Руки он только что вымыл, но под ногтями ещё темнело. Он посмотрел на меня поверх очков, как смотрят на схему с ошибкой.

— Вы Тальцев?

— Я.

— Лемке. Карл Фёдорович. — Он не протянул руку, а просто кивнул. — Мальчик будет жить. Аппендикс. Ещё час — и был бы перитонит.

Я сел на скамейку в коридоре. Ноги вдруг стали ватные.

— Свет загорелся минут через двадцать после того, как я послал Степана, — продолжал Лемке. — Не полный. Но достаточный. Это вы сделали?

— Я выключил пристань.

Лемке поднял бровь.

— Вы выключили пристань, — повторил он, — чтобы дать свет моей операционной.

— Да.

— Гут. — Он помолчал. — А завтра? Послезавтра? Каждый вечер, господин Тальцев, у меня в шесть часов садится свет. Мы оперируем днём. Роды принимаем при свечах. Это губернская больница, а не изба знахарки.

— Понимаю.

— Ваш покойный отец обещал мне отдельную жилу. Два года назад.

— А я вам её дам, — сказал я. — Завтра.

Лемке долго смотрел на меня.

— Вы очень молоды, чтобы обещать, — сказал он наконец.

— Я старше, чем выгляжу, Карл Фёдорович.

Он чуть усмехнулся. Кажется, впервые за этот вечер.

* * *

В моём мире это называлось «первая категория». Больница, водокачка, котельная. То, что нельзя оставить без света ни на минуту, потому что там умирают люди. Таких кормят отдельно. От своей жилы, а лучше от двух, с разных сторон. Чтобы, если одна оборвётся, другая держала.

Одна жила у больницы уже была: городская, та, что садилась каждый вечер. Своей не было. Но у меня была ещё одна жила. Мёртвая.

Северная тройка, которую отец обрезал Суркову за неуплату, шла от узла вдоль оврага. И проходила за больничным садом, в двух пролётах от больничной стены. Я заметил это ещё ночью, когда мы искали перемычки. Тогда это ничего не значило.

Теперь значило всё.

Утром, за кружкой Ефимова чая, я разложил на ящике блокнот и нарисовал.

— Северную на больницу? — Ефим смотрел на мой рисунок. — Барин, так она ж сурковская.

— Она моя. Сурков за неё не платит. Отец её обрезал, а я ей найду дело.

— А фабрика?

— А фабрика пусть платит. Тогда и подумаем.

Отрезать фабрику руками, сняв два последних пролёта перед ней. Их жилами протянуть отвод к больнице. Стояны мне отдаст плотник с Кожевенной, в долг, а то и даром: у него теперь вечером горит свет.

А потом я посчитал дальше, и вышло неприятно. Больница на полном напоре возьмёт втрое против своих нынешних крох. Пристань я с утра уже вернул. И в вечерний пик бочка снова завоет. Значит, кого-то надо будет снимать с пика. Не больницу. Не Кожевенную, которая только вчера увидела свет.

Я знал, кого.

Купеческая. Главная улица Ольхова. Витрины, вывески, люстры в окнах второго этажа, фонари у каждого крыльца. По силе одна Купеческая брала, как вся Кожевенная и Мещанская вместе. А лавка Суркова, со светящейся вывеской во всю стену, стояла там посередине.

Я пошёл в кладовую и вынес три медных провода. Короткие, новенькие. Хорошая медь. Дорогая.

— Это ж сурковские, — сказал Ефим. И вдруг заулыбался. Медленно, во весь рот. — Барин. Это ж сурковские перемычки.

— Я же говорил: пригодится. На ввод через стену как раз хватит.

За медью так никто и не пришёл. Ни Сурков, ни Буслаев. Прийти за ней — значило признать подсос.

* * *

Работали мы весь день. Я говорю «мы», потому что в этот раз Ефим со мной пошёл. Я не позвал. Он просто взял шест с шаром и пошёл следом, и у меня не нашлось сил его отослать.

Мёртвую северную надо было проверить. Мёртвая — это когда заземлил, а не когда тебе так сказали. На стояне за два пролёта до фабрики я потянулся за шестом.

— Дайте я, — сказал Ефим.

И, не дожидаясь ответа, пошёл сперва не к северной, а к фонарю у дороги, на городском отводе. Коснулся колпачком. Шар засветился.

— Работает, — сказал он сам себе. Как я тогда у оврага.

Потом вернулся и коснулся жил северной. По очереди. Одной, второй, третьей. Шар не горел.

— Темно, — доложил он. — Все три.

Я посмотрел на него. Потом на шар. Хотел проверить сам. Сил спорить не было. Потом, когда он положил шест и взялся за штырь, я всё-таки тихонько тронул колпачком крайнюю жилу. Темно.

Землю он тоже поставил сам. Вбил штырь обухом, примотал хвост, набросил связку.

— Земля-матушка, — приговаривал он, — прими лишнее, не моё.

Неловко, медленно. Но в правильном порядке.

Теперь северная сидела на земле с двух концов: у узла, на выводах, ещё с той ночи, и здесь, у фабрики. Между ними можно было работать.

Я снял два пролёта до фабрики. Три жилы, свернул кольцами и понёс к больнице. Между северной тройкой и фабрикой теперь был воздух. Пусть Сурков попробует пустить через воздух хоть что-нибудь.

Потом мы поставили два стояна: один у больничной ограды, второй у самой стены. Плотник помогал, санитары держали. Я натянул на отвод фабричные жилы. А сурковскую медь пустил на ввод через стену, в подвал.

В подвале стоял щиток, который ещё отец поставил два года назад и так и не подключил. На нём висела бумажка, выгоревшая до желтизны. Отцовской рукой: «Под отдельную жилу».

Я постоял перед ней.

Отец собирался. Не успел.

Старый ввод с городской тройки я оставил и поставил на щитке переключатель. Ставил в полдень, между операциями: Лемке на двадцать минут сам выключил у себя городской ввод больничным рубильником. Я проверил щиток шаром, посадил на землю и только потом взялся за ключ. Поставил, снял землю со щитка — и только тогда кивнул Лемке: включайте. И заодно предупредил: в два часа у него будет ещё полчаса без света, и в эти полчаса никого не резать.

Одна жила или другая, не обе разом. Обе разом — и через больницу пойдёт обратная тяга на ту, которую чинят. Теперь, если своя оборвётся, санитар перекинет рукоять на городскую. Слабую, тусклую, но живую. Это ещё не настоящая первая категория. Но уже не изба знахарки.

Землю у фабрики я снял сам, как только мы кончили у больницы: за ней теперь был только пустой стоян и воздух. А Ефима отправил на узел. К рычагу центра.

В два часа, как ударили на Троицкой, Ефим опустил центр. Повесил знак, примотал проволоку. Центр на полчаса остался без силы. Заводы, Заречье и пристань, на своих рычагах, и не заметили. Я уже стоял у рынка, под отводом Купеческой. Шар. Земля. И поставил на отводе разъединитель из отцовской кладовой.

Снял землю, вышел на открытое место и поднял на шесте белую тряпку. С пригорка рынок видно. В половине третьего Ефим поднял центр. До ревизии оставалось двадцать восемь дней, а я ставил на отвод разъединитель, чтобы гасить главную улицу.

Потом вернулся на узел и осмотрел вывод северной. Тот самый, что был на уровне груди, вдвое ниже соседних. Он ещё сидел на земле. Я записал высоту и болты: новые, не отцовские. Поднял его на место. Кто опустил и зачем — вопрос в блокнот. Вопросов там становилось больше, чем ответов.

Теперь — снять землю с выводов: сначала с жил, потом из земли. Я обошёл щит, посмотрел, не осталось ли где хоть одного хвоста. Только потом взялся за рычаг.

В пять часов я поднял рычаг северной тройки.

Ефим с шаром ушёл к больнице заранее. Как шар на вводе засветится — перекинуть рукоять на северную. Оттуда ему надо было к шести успеть к рынку. Мы так договорились.

* * *

Рвать разъединитель под нагрузкой нельзя: дуга сожжёт и его, и того, кто тянет. Поэтому в шесть, когда бочка снова завыла, я на полминуты опустил рычаг центра. Город мигнул. Ефим у рынка в темноте разомкнул Купеческую шестом и дважды мигнул мне фонарём. Только тогда я поднял рычаг.

Купеческая погасла. На ней остался один фонарь на углу, от соседнего отвода, чтобы извозчики не ломали ноги. Остальное — до девяти, когда пик спадёт.

Бочка перестала выть.

А над оврагом, на северной окраине, горели окна больницы. Когда город мигнул, они не мигнули. Ни одно. У больницы теперь была своя жила.

Ефим вернулся через полчаса, запыхавшийся.

— В пять перекинул, барин! Шар на вводе загорелся, я рукоять — на северную, и лампы пошли. Доктор вышел, постоял, ничего не сказал. Только вот так сделал.

Ефим кивнул один раз, коротко и сухо. Получилось очень похоже на Лемке.

* * *

Сурков приехал через час.

Я его раньше не видел. Он оказался не толстым, как я почему-то думал, а крепким, широким, с короткой седой бородой и цепкими глазками. Одет просто, но сапоги стоили, наверное, как моя бочка. С ним никого не было. Это мне понравилось меньше всего.

— Даниил Андреевич. — Он снял шапку и даже слегка поклонился. — Сурков, Илья Кузьмич. Мы с вашим батюшкой знакомы были.

— Помню, — сказал я. — Он вам северную обрезал.

Сурков не смутился. Он только улыбнулся в бороду.

— Было дело. Горячий был человек, царство ему небесное. Я, Даниил Андреевич, человек простой. Больнице вашей вон крышу перекрыл, за свой счёт. Торговый. Мне ссориться ни к чему. — Он вынул из-за пазухи конверт и положил на ящик рядом со мной. — Тут пятьсот. На ремонт. Узел-то у вас, говорят, совсем плох. А вы мне Купеческую верните. И северную на фабрику. А про медь мы с вами забудем. И Гаврила Петрович забудет, я ему скажу.

Пятьсот рублей. Половина моего списка.

Я посмотрел на конверт. Не взял.

— Северная теперь кормит больницу, Илья Кузьмич, — сказал я. — А Купеческая получит свет в девять. Каждый вечер, пока я не поставлю вторую бочку. Если хотите свет на фабрике — заплатите долг за зиму. Тогда поговорим.

— Это вы так решили?

— Так решила бочка. Она одна, а вас много. Больница первая. Потом водокачка. Потом дома. Лавки — последние.

Сурков долго смотрел на меня. Улыбка в бороде не пропала, но глаза за ней стали совсем маленькими.

— Лавки, значит, последние, — сказал он. — А вы знаете, Даниил Андреевич, кто в этом городе платит за свет? Не больница. Больница казённая, она платит, когда казна вспомнит. Платит Купеческая. Вы сейчас тех, кто вас кормит, посадили в темноту ради тех, кто вам должен.

Это было правдой. Неприятной правдой, но правдой. Я промолчал.

Сурков взял конверт с ящика и спрятал обратно за пазуху.

— Завтра вся дума будет знать, что новый Тальцев гасит купцов, — сказал он, надевая шапку. — Город у нас маленький, Даниил Андреевич. Тут без купцов никто долго не живёт.

Он ушёл. В девять Ефим снова сходил к рынку, а я снова на полминуты опустил центр. Но это было потом. А пока Ефим, стоявший у будки, тихо выдохнул.

— Пятьсот рублей, — сказал он. — Барин. Пятьсот.

— Слышал.

— Это ж медь. Это ж Савелия назад позвать.

— Знаю, Ефим.

Он посмотрел на меня, хотел что-то сказать и махнул рукой.

* * *

Утром город гудел. Ефим ходил на рынок и вернулся с полной корзиной новостей. На Купеческой говорят, что Тальцев сошёл с ума. В думе говорят, что надо писать губернатору. В трактире говорят, что сын весь в отца. Последнее, по-моему, должно было звучать как ругательство.

Зато плотник с Кожевенной сам вызвался ходить к рынку с шестом, в шесть и в девять. За свет. Ефим показал ему разъединитель и шар и, по-моему, остался собой очень доволен.

— А на Кожевенной что говорят? — спросил я.

Ефим подумал.

— На Кожевенной ничего не говорят, барин. На Кожевенной свечи перестали покупать.

К полудню у ворот остановилась больничная пролётка. Из неё вышел Лемке, а за ним, легко, не держась за поручень, спрыгнула девушка.

Лет двадцати. В тёмном рабочем платье, в кожаном фартуке, с волосами, убранными под платок. На поясе у неё висел холщовый чехол с инструментом. Лицо узкое, с острым подбородком и очень внимательными глазами, которые за одну секунду обошли весь узел: бочки, будку, стояны, меня.

На мне глаза задержались чуть дольше. Без особого восторга.

— Господин Тальцев, — сказал Лемке. — Я подписал письмо в думу. От имени больницы. В нём сказано, что если свет на Купеческую вернут за счёт моей операционной, я сам поеду к губернатору. Я подумал, вам следует это знать. — Он помолчал. — Илья Кузьмич перекрыл нам крышу. Теперь, полагаю, будет течь.

— Спасибо, Карл Фёдорович.

— Не за что. Я врач, а не благотворитель. — Он кивнул на девушку. — А это Варвара Сомова. Она чинит обереги в больнице. Говорят, лучше неё в губернии нет. В ту ночь, на скамейке, вы спрашивали, почему ваш оберег не сработал.

— Я спрашивал?

— Вы много что говорили, — сказал Лемке. — Вы спали сидя.

Варвара подошла к будке, заглянула внутрь, потом посмотрела на меня.

— Так это вы тот барчук, — сказала она, — которого из Училища выгнали? Слухач?

— Тот самый.

— А правда, что вы в Училище щит спалили? Сглазом?

— Он сам сгорел. Я только предупредил.

— Ну да, — сказала она. — Так все и говорят. — И вошла в будку.

Ефим за моей спиной хмыкнул. Лемке сделал вид, что не слышал.

Я вошёл следом и сразу повёл её к первой бочке. К её оберегу на щите, к тому, что заклинило.

Варвара посмотрела. Не тронула. Только присела и долго разглядывала пластину сбоку, против света.

— Этот заклинило под силой, — сказала она. — Сейчас не сниму, тут возиться надо, да и бочку вашу смотреть. Дня через три. — Она поднялась и потянулась ко второму оберегу.

— Стой, — сказал я. Взял шест и коснулся пластины колпачком. Темно. — Теперь можно.

— Барчук, я обереги с двенадцати лет трогаю.

— Тем более.

Она посмотрела на меня. Потом на шар. Ничего не сказала, но, кажется, запомнила.

Провела пальцем по знакам, выбитым на меди, медленно, как слепой читает книгу.

— Старый, — сказала она. — Знаки стёрты, медь устала. Он не сработал, потому что дряхлый. Такой давно менять надо. Это не порча, барчук. Это у вас хозяйство такое.

— А на тройках?

На каждой тройке у щита висел свой оберег, поменьше. Свой сторож на каждую улицу.

— Тройки посмотрю. — Она обернулась к Ефиму. — Дед, а оберег с заречной, что стоял на ней в апреле, — где он?

Ефим вдруг стал очень тихим.

— Савелий снял, — сказал он. — Когда жилу сращивал. Новый поставил, а старый в ящик бросил. Говорил: этот, видать, сгорел, раз не уберёг.

— Покажи.

Ефим принёс из кладовой ящик. В ящике, под тряпками, лежала медная пластина с почерневшим краем.

Варвара взяла её, повернула к свету и замолчала. Надолго. Впервые за всё время, что она здесь была, у неё не нашлось колкости.

— Я его заберу, — сказала она наконец. — Посмотрю у себя. Тут свет не тот.

Я хотел спросить, что она увидела. Но она уже шла к пролётке, завернув пластину в платок.

* * *

Вечером, в шесть, город снова мигнул, и Купеческая погасла. Бочка перестала выть. В девять город мигнул ещё раз, и Купеческая вернулась. Это становилось распорядком.

В десятом часу в ворота постучали. Не кулаком, как санитар, а коротко, костяшками. Три раза.

Ефим открыл. В калитке стояла Варвара. Одна, без Лемке, в накинутом на плечи платке. В руках она держала тот самый оберег.

Она подошла ко мне. Положила пластину на ящик, под фонарь.

— Его испортили нарочно, — сказала она. — Это не износ.

Глава 7
Оберег, который не сработал

Варвара положила пластину на ящик, под фонарь, и сдвинула платок, чтобы мне было видно.

Было начало одиннадцатого. Узел гудел ровно, пик прошёл. Ефим стоял у будки с самоваром в руках и забыл, зачем его нёс.

— Смотрите, барчук, — сказала она. — Только руками не трогайте. Он мне ещё нужен.

Я посмотрел.

Медная пластина в ладонь длиной. По ней шёл выбитый узор: завитки, черты, кружки. Красивый, как оклад на иконе. Я видел такие на щите каждый день, но никогда не разглядывал.

— Обереги не слушают, — сказала Варвара, — их читают. Вот тут сила входит. — Она показала ногтем, не касаясь. — Идёт по узору, как вода по канавке. Узор широкий, сила течёт, не замечает. А вот тут, видите? Посередине. Узор сходится в одну черту. Тонкую, как волос. Мы её зовём горлышко.

— Вижу.

— Пока силы сколько положено, горлышко её пропускает. А если силы станет больше, чем надо, горлышко не выдержит. Выгорит. Связь разорвётся, и всё, что за оберегом, останется без силы. Сам собой, без всякого рычага. За миг. Потому он и оберег: он бережёт.

Я смотрел на тонкую черту и слышал, как у меня в голове щёлкнул чужой, земной переключатель.

Плавкая вставка. Предохранитель. В моём мире его ставили в каждый щиток, от квартиры до подстанции. Тонкая проволочка, которая сгорает первой, чтобы не сгорело всё остальное. Здесь до него дошли своим путём и выбили его на меди, с завитками. А принцип тот же.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.